

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.



Артур Арну.

МЕРТВЕЦЫ КОММУНЫ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
Уральское Областное отделение.
Екатеринбург — 1921.

Б127431

ЭК

9 (44)
А-893

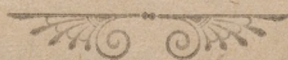
Артур Арну.

5

11.10.1921
5

МЕРТВЕЦЫ
КОММУНЫ.

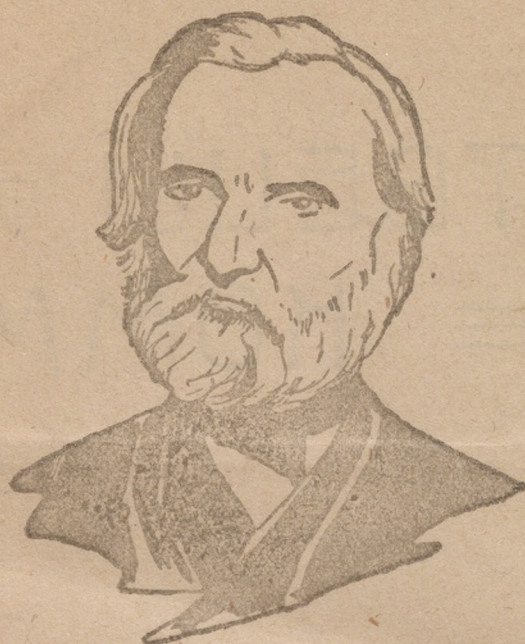
АРХИВ



КНИГОХРАНИЛИЩЕ
ОБЛ. БИБЛИОТЕКИ
г. СВЕРДЛОВСК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
Уральское Областное Отделение
Екатеринбург—1921.

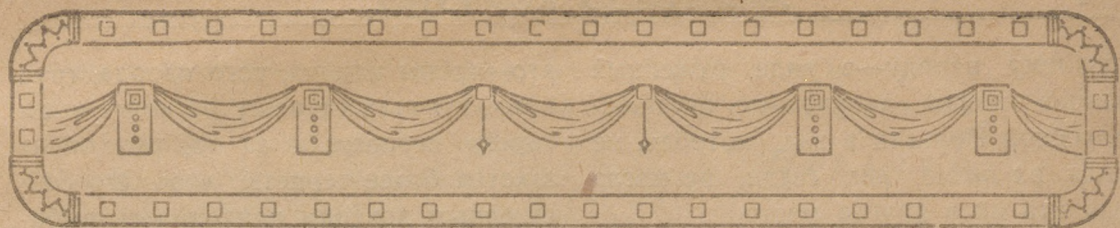
9/44/1871



О Б л а н к е

Р. В. Ц.

Екатеринбург, Тип. «Гранит», закл. № 30. П—21. 15.000.



Шапки долой! Я буду говорить о мучениках коммуны!

Сколько было их? Никому не перечесть!

Спросите об этом парижскую мостовую, митральезы казарм Лабо, Люксембургский сад, Шомонские высоты, Шатле, окровавленные плиты гробниц Пэр-Лашеза, зеленеющие скверы, превращенные в кладбища, где из под свежей земли только что засыпанных могил слышалось по ночам предсмертное хрюканье.

Кровь текла ручьями. Воды Сены покраснели. Трупы перебитых лежали по улицам на протяжении многих тысяч квадратных метров слоем в несколько тел. Колеса версальских пушек до самых ступиц были облеплены, как грязью, запекшейся кровью и кусками человеческого мозга. В течение пятнадцати дней резали без суда. Париж превратился в громадную бойню.

Когда все кончилось, великий город не досчитывал ста тысяч рабочих,—убитых, взятых в плен, бежавших. От некоторых цехов не осталось ни одного человека,—это свидетельствует сам муниципальный совет в одном официальном отчете.

Да, это был поистине пир для французской буржуазии. Наши великие генералы до сих пор облизываются при одном воспоминании о нем.

Тьер—этот отвратительный карла—стал словно молодым юношей, выкупавшись в этой ванне из народной крови.

Ничего не пожалели для этой оргии капиталистов. Пир шел, поистине, горой. Расстреливали женщин, и молодых и старых, матерей с детьми, детей без матерей, матерей без детей, и—что было еще приятнее,—расстреливали безоружных—стариков, больных, умирающих. В госпиталях ампутированных подхватывали на штыки и выбрасывали за окна в кровавые ручьи, как щенят, которые пищат и воют.

Да, это было великолепно!

Записные журналисты и пышные богини наслаждений бегали нюхать трупы. Красавицы втыкали, случалось, кончики своих зонтиков в зияющие раны еще живых людей.

Жюль Фавр, этот подделыватель фальшивых бумаг, весь забрызганный кровью Мюльера, изумлял мир зрелищем своего бешеного умопомешательства. Монархическая Европа, отказавшая ему в выдаче бежавших, должна была стыдиться его!

Маркиз Галифэ резал, потому что был подл. „Настал на моей улице праздник!“—говорил он. Ему казалось, без сомнения, что разбой мужа заставит простить проституцию жены, соперницы Евгении, экс императрицы.

Винуа, Сизи, Мак-Магоны и прочие генералы империи возвращали безо-

ружному народу—в виде ружейных залпов—пинки, полученные от победоносной Пруссии в зад, которая, не видя их иначе, как сзади, не могла ударить их в другое место.

Александр Дюма—сын, певец куртизанок, защитник религии, собственности и буржуазной семьи, покоящейся на прелюбодеянии и доме терпимости, об'являл, что „самка коммунара похожа на женщину только когда зарезана“.

Вриньо, главный редактор „Общественного Блага“ и любимый друг Тьера, хвастался, что он собственноручно убил тридцать федералистов—из числа пленных, закованных в цепи или раненых, само собою разумеется.

Национальное Собрание, точно горя нетерпением вымазать себя всей этой кровью, декретировало благодарственный адрес версальской армии и провозгласило *единогласно*, при воздержании только *одного* члена, что палачи народа—„спасители отечества“.

„Парижский журнал“ 5-го июля 1871 г печатал следующий диалог:

— Что вам хочется смотреть, дети,—говорит мать своим дочерям,—развалины или трупы?

— О, и то и другое, маменька, и то и другое!

— Ну, так вот что мы и сделаем: мы поедем сначала смотреть на мертвых... только уж позавтракать придется как попало.

— Ничего, маменька: мы возьмем с собой по кусочку хлеба!

— Хорошо. И если я не слишком устану, мы пойдем смотреть на пожары вместо десерта.

И девочки захлопали в ладоши*.

Какой прелестный портрет буржуазии, нарисованный ею самою!

О, девочки! Эти трупы, на которые вы идете смотреть, хлопая в ладоши,

это—трупы народа, того народа, труд которого создает вашу роскошь и которого перерезали за то, что он не захотел более терпеть, чтоб его собственным дочерям приходилось выбирать между голодом, самоубийством и проституцией.

* * *

Целый народ сидел запертый в стенах своего города. Нигде ему не было выхода, потому что армии союзников—версальцев и пруссаков—сторожили все ворота.

И вот этому народу остервеневшая реакция кричит:

— Что бы ты ни делал, ты погиб! Если тебя в змуг с оружием в руках, тебя ждет одно—смерть! Если ты положишь оружие—смерть! Если ты станешь молить о пощаде—смерть! Куда бы ты ни повернулся, куда бы ты ни кинул взгляд—направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз—смерть! Ты не только вне закона, ты—вне человечества. Ни возраст, ни пол не спасут ни тебя, ни твоих. Тебя убьют. Но прежде ты насладишься зрелищем предсмертных мук твоей жены, сестры, матери, дочерей, сыновей—в том числе и грудных.

Смерть! Смерть! Смерть!

Вчера ласкали пруссака: пленного его кормили, оказывая ему всевозможное внимание; раненого его лечили с нежной заботливостью. И так следовало поступать, это был человек,—хотя в данную минуту он представлял собою лишь грубую силу на служении династической ненависти и честолюбия. Шапки долой пред этим врагом,—свиретым бульдогом, наускиваемым Бисмарком! Жюль Фавр пойдет плакать у ног этого великого человека, Трошю и Тьер счастливы, если им удастся после битвы пожать его руку

—руку, раздавившую революцию во Франции. Но ты, гражданин Франции, поднявшийся для защиты права и справедливости, ты, вчера еще защищавший Париж от завоевательной войны, когда Вильгельм подбирали императорскую корону, уроненную Бонапартом в грязь Седана,—ты, желающий установить братство народов и солидарность всего мира, ты, мечтающий о счастье Франции и всего рода человеческого, ты, думающий основать величие твоей родины на началах, которые обеспечили бы счастье вселенной, ты—отверженец, ты—омерзитель!

Для тебя нет справедливости.

Рука твоя внушает гадливость, и если бы ты протянул ее с мольбой о сострадании, ее отрубили бы, плюнув тебе в лицо.

Смерть тебе, бунтовщик! Смерть тебе, социалист! Смерть тебе, коммунар! Смерть тебе, твоей самке и твоим детенышам!

Смерть! Смерть! Смерть!

Но что же это были за люди, которых краснокожие правящих классов привязывали к позорному столбу при таких неистовых криках радости? Что это были за люди, которых буржуазия, точно в бешеном весельи дикарей людоедов, избивала с таким остервенением, перед которым меркли все, доселе известные, великие резни?

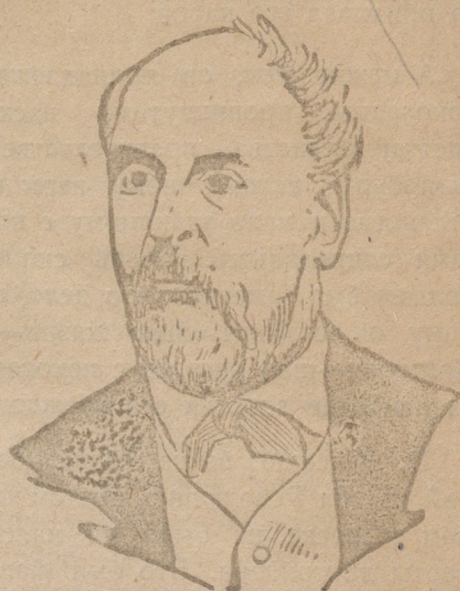
Несколько имен плывут на поверхности этих волн крови, которые гонит буря реакционных страстей, эгоистических инстинктов и мстительной трусости.

Присмотримся к этим людям, потому что по ним можно будет судить об остальных, о той великой безымянной массе, которая на запрос истории ответит

„Имя мне—народ!“

Вот вам прежде всего

Делеклюз



Старик с белой головой, худой, с энергичными чертами лица и гордым взглядом, образец честности и безкорыстия, якобинец, точно вылитый по модели бронзовых фигур людей Конвента, которых он был последним и не-наименее прекрасным представителем в наши дни.

Вся жизнь его была одной непрерывной борьбой за то, что он считал правом, справедливостью, истиной.

Ни поражения, ни преследования—во время империи он был сослан в Кайенну—ни страдания, физические и нравственные, ни годы,—ничто не могло ослабить его веры и безграничной преданности.

Чтобы лучше служить Революции, он отказался от семейной жизни, никогда не женился и жил вместе со своей матерью и сестрой.

Никогда не знал он ни сомнения, ни изнеможения, ни даже усталости. Он жил и умер без страха и упрека

Но особенно, прекрасен был его конец. Посланный сперва депутатом в Бордо, он был выбран затем в Коммуну и явился, не колеблясь, туда, куда призывал его народ.

А между тем, он принадлежал к поколению, пропикнутому насквозь идеями единства правительственной диктатуры, исполненному веры в государство и мало знакомому с вопросами социальными. Очень скоро он должен был заметить, что дело, которому он отдавал свою жизнь—дело Коммуны—шло вразрез с некоторыми из наиболее дорогих его убеждений.

Но Делеклюз выше своих убеждений ставил Революцию. В этом железном человеке не было ни малейшей черты доктринера. Это был фанатик, а не догматик. Он не принадлежал к числу тех, которые укладывают Революцию в одну формулу и восклицают: „Вне моей церкви нет спасения!“

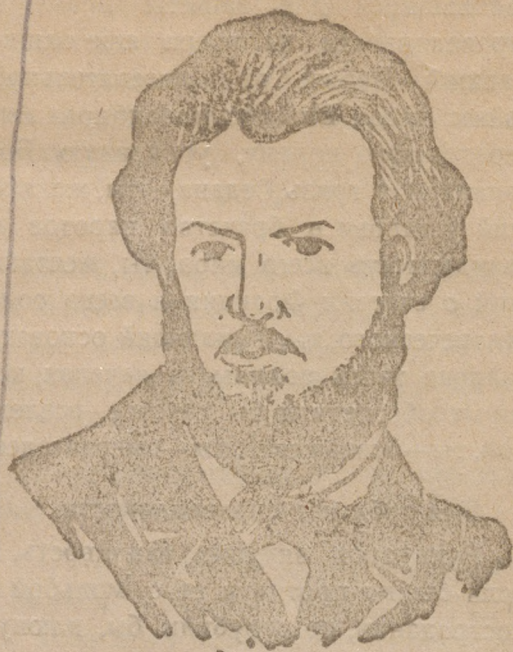
Вот почему, хотя он и не разделял вначале всех стремлений борцов Коммуны, хотя некоторые из этих стремлений или прямо противоречили тем политическим верованиям, которым была посвящена вся его жизнь, или же обнаруживая новые стороны вопросов, поселяли сомнение и смущение в его голове, привыкшей к совершенно иного рода представлениям, — тем не менее, нужно воздать ему справедливость: он ясно понял программу Коммуны, он согласился с нею и принял все ее выводы во всей их силе.

Его органические, так сказать, симпатии не влекли его к Коммуне, но там был народ, там была его воля.

И Делеклюз, с твердостью, стойко, преклонился пред нею.

Рядом с Делеклюзом стоит столь же великий, хотя совершенно противоположный ему,

Варлен,



сын народа и дитя собственных дум.

Он родился в 1839 году от бедных крестьян департамента Сены и Марны. На тринадцатом или четырнадцатом году он пришел в Париж и поступил учеником к одному переплетчику.

В то время он не умел ни читать, ни писать. Но у него хватило энергии самому образоваться, урывая время от тех немногих часов отдыха, которые оставляла ему работа в мастерской.

Делеклюз, человек происхождения буржуазного, воспитания якобинского, представлял собою тип революционера старого закала, перешедшего в социализм, благодаря одной искренней своей преданности делу народа, делу справедливости.

Варлен, напротив того, воплощение Революции нового времени. Он весь принадлежит социализму воинствующему, и в ряду представителей последнего, образ его всегда останется одним из самых светлых, самых благородных, самых трогательных.

— Да Он начал свою революционную работу, как главный деятель общества сопротивления рабочих переплетного мастерства. Затем он был основателем первых социалистических кухмистерских в Париже. Наконец, сделался одним из первых членов и неутомимейших агитаторов и распространителей Интернационала во Франции.

И теперь помнят его гордое и смелое поведение перед трибуналом империи, когда Наполеон III, убедившись, что ему не удастся ни обольстить, ни положить Интернационал, задумал бороться с ним, чтобы уничтожить его.

В редакции „Марсельезы“ познакомился я в первый раз с Варленом.

Никогда не забыть мне этой молодой, прекрасной головы, покрытой уже седыми волосами, этого глубокого взгляда черных глаз, этого задумчивого и ровного голоса и исполненного достоинства обращения.

Он говорил мало, не выходил из себя никогда. В нем соединялось великодушие героя и меланхолия мыслителя.

Роль Варлена в коммуне известна.

Он говорил в ней мало, а делал много. Занимался он в ней, преимущественно, администрацией финансов вместе с Журдом, но впоследствии перешел в интендантство, где мог приложить во всем их размере свои громадные организаторские способности.

(Когда в Париж вошли версальцы, он геройски сражался до последней крайности и под конец был взят в плен победителями Коммуны.

Со связанными назад руками, осыпaeмый ударами и бранью толпы подлецов, бесновавшихся вокруг него, покрытый плевками, грязью и кровью, он был водим ими по улицам Монмартра в течении двух с лишним часов, чтобы продолжить с утонченным зверством его предсмертную агонию.

Но и эта долгая пытка не могла поколебать его могучую натуру.

Бледный и спокойный, без слова, без движения нетерпения, гнева или слабости, он обводил палачей своих глубоким взглядом.

Наконец, пули прекратили его мучения.

Он был так велик в своем бесстрашии, что даже его враги и палачи не могли не отдать ему справедливости.

Вот рассказ об его смерти, взятый целиком из одного реакционного журнала того времени:

Варлен, арестованный на улице Лафайет, был поведен к Монмартру

„Толпа росла все более и более, так что с большим трудом удалось достичь подошвы Монмартрских высот. Здесь пленник был приведен к какому-то генералу, имя которого ускользнуло из моей памяти. Дежурный офицер подошел к нему, что-то шепнул ему, и тот проговорил в ответ: „там, за этой стеной“.

„Кроме этих четырех слов я ничего не мог расслышать, и, хотя в смысле их нельзя было сомневаться, мне все-таки хотелось видеть до конца последний акт жизни одного из творцов этой ужасной драмы... Но мщение общества решило иначе“.

„Когда осужденный был приведен на указанное место, чей-то голос, тотчас же подхваченный другими, стал кричать из толпы: „Олишком рано! нужно еще поводить его“!

„Печальная процессия двинулась снова. Пришли на улицу Розье, но главный штаб, помещавшийся на этой улице, воспротивился казни“.

„Пришлось снова вернуться к Монмартру в сопровождении всей этой толпы, увеличивавшейся притом на каждом шагу“.

„Картина делалась все более и более зловещей. Человек этот, хотя знал с самого начала об ожидавшей его

участи, шел такой смелой и твердой поступью, что, несмотря на все преступления, которые он мог совершить, зритель невольно начинал сам страдать при виде такой долгой агонии“.

Но вот, наконец, осужденный прибыл на место казни. Его приставляют к стене; но пока офицер выстраивает солдат, готовясь скомандовать залп, один из солдат, конечно, вследствие недостаточного искусства в ружейных приемах, спустил курок. Но ружье дало осечку. В ту же минуту раздался залп, и Варлен упал“.

Тотчас солдаты, опасаясь, что он еще не умер, кинулись прикончить его ударами прикладов. Офицер сказал им: „Видите: он умер, оставьте!“

Таков рассказ врага, одного из тех диких зверей, которые яростно кинулись на побежденный народ и бегали на казни, как на праздники.

Этот рассказ, хотя и умышленно смягченный, говорит о подлой свирепости палачей и о героизме жертвы более, чем могли бы сказать целые томы.

Это картина—живая, забыть которую невозможно.

Таков был конец Варлена, увенчавшего мученичеством жизнь, целиком посвященную на служение праву и правде. (X X)

Я остановился так долго на ^{нескольких} двух фигурах потому, что они вполне олицетворяют собой ^{две из} две стороны коммунистического движения и могут быть названы двумя гранями Парижской Коммуны.

Делеклюз, это—буржуазный якобинец, который, забыв свое происхождение, свое воспитание, свои инстинкты и кастовые традиции, становится социалистом, чтобы соединиться с народом, пойти вместе с ним на завоевание социальной свободы.

Варлен, это—сам юный народ, поднимавший голову, овладевающий нау-

кою, и порывом героизма отождествляющийся с Социальной Революцией, которой он—верный, прирожденный представитель, которой он—тело и кровь.

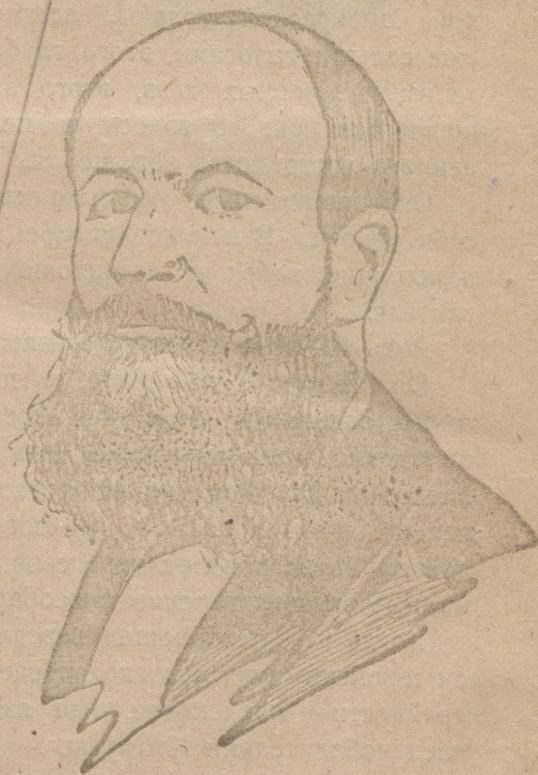
Первый говорит—Коммуне: „Ты—справедливость!“

Второй возмещает удивленному миру: „Народ готов!“

Но сколько теснится в памяти других имен, заслуживающих такого же апофеоза; сколько других фигур, олицетворяющих тот же глубокий и возвышенный дуализм, повторяющих те же слова, доказывающих те же истины.

Кто может забыть:

Дюваль и Флуранс.



Один из них—простой рабочий, как Варлен; другой—сын одного из сановитых ученых своего времени, профессора, академика, члена института—Флуранс.

Оба они отдали жизнь за то же дело, а они дали бы ему и победу.

если бы героизм, посвященный на служение справедливости, был достаточен, чтобы восторжествовать над хитрой организацией буржуазного государства, этого сторукого чудовища, сторожащего привилегию и эксплуатацию против правды и справедливости.

Оба они были молоды; оба, как Делеклюз и Варлен, заседали в Коммуне; оба командовали отдельными отрядами на вылазке 3 апреля, когда Париж в единодушном порыве поставил на ноги свои двести тысяч человек, которых Тьер выставлял перед Францией, как „горсть разбойников, бежавших с каторги“.

Густав Флуранс давно уже стал известен своей смелой борьбой с империей. Странствующий рыцарь Революции, он ездил в Кандию сражаться против турецкого деспотизма за восставший греческий народ. По возвращении в Париж он снова возобновляет борьбу в „Марсельезе“ и в публичных собраниях. Во время осады, будучи командиром батальона, 31 го октября он сделал попытку спасти Париж и Республику. Правительство „Народной обороны“, которое он имел слабость пощадить, посадило его в Мазас, откуда он был освобожден народом 21 января.

4 го апреля он был захвачен врасплох в Рюэйле отрядом жандармов, окруживших дом, в котором он хотел отдохнуть на несколько минут. Он пытался защищаться, но один капитан, по имени Демарте, рассек ему череп таким свирепым ударом сабли, что мозг брызнул наружу.

Труп его был брошен в гроб и отправлен в Версаль, где на него ходили смотреть светские дамы, эти „суки“, как называет их поэт в негодующем стихе, бегавшие лизать кровь раненых и ковырять раны пленных

...„Резной ручкой своих шелковых зонтиков“...

Дюваль—этот был интернационалист—простой литейщик. Всего несколько дней заседал он в Коммуне, где тотчас же обратил на себя внимание своей энергией, деятельностью и мужеством, исполненным хладнокровия.

В собрании мне приходилось сидеть с ним рядом. Мало видел я людей более симпатичных, мало встречал таких, на лице которых так ясно отражалось бы великодушие, благородство и самоотверженность их натуры.

Он только прошел по сцене истории, чтобы сражаться и умереть. Но тот, кто раз видел его, никогда его не забудет.

Его взяли в плен вместе с его отрядом в Шатильонском плато, после отчаянной обороны.

Он и его отряд окружены; зарядов больше нет.

— Сдавайтесь, ваша жизнь будет пощажена!—говорят им от имени генерала Пелле, командовавшего войсками.

Они сдаются.

Тотчас же версальцы хватают солдат регулярной армии, сражавшихся в рядах федералистов, и тут же расстреливают их.

Впоследствии маршал Мак-Магон милует такого же маршала Базена, виновного всего лишь в том, что он сдал неприятелю Мец и свою армию!

Прочих пленных окружают двумя рядами стрелков и ведут в Версаль.

По дороге встречается им Винуа, тот самый, который с удовольствием принял на себя грязное дело сдачи Парижа.

Он спрашивает: „Кто тут начальник?“

— Я, — отвечает Дюваль, выступая вперед.

Другой выступает вслед за ним.

— Я — начальник штаба Дюваля, — говорит он.

Из рядов выступает третий.

— Я — начальник штаба волонтеров, — говорит он и становится рядом с двумя первыми.

— Вы все — сволочь паскудная! — говорит Винуа на своем языке кордегардии, — я вас сейчас расстреляю.

Дюваль и оба его товарища, не удостоив его даже ответом, сами становятся к стене, снимают шинели и с криком:

— Да здравствует Коммуна! — падают пораженные пулями.

Это были первые мученики Коммуны. Версальцы только что начинали ту бойню, которая должна была окончиться истреблением целого населения.

Они были первыми и самыми счастливыми. Они умерли с верою в победу: это была, ведь, только первая битва. Позади себя они чувствовали Париж, грозный и могучий.

Спите же с миром, друзья, — ибо вы не ошиблись! Придет время и другие восстанут, чтобы продолжать то дело, которому вы отдали вашу молодость и вашу жизнь! Придет день, когда освобожденный народ громко назовет ваши имена, которые теперь едва смеет произносить шепотом, и тогда своим мощным голосом он воскликнет:

— Честь вам и благодарение, мученики часа первого!

Рядом с этими, в славном Пантеоне мучеников будет вырезано имя

Верморель.

Этот был тоже молод. Родился он в 1841 году. Имя свое сделал известным, публицистикой.

Подобно Делеклюзу, подобно Флурансу, он покинул, отряхнув пыль от своих ног, лагерь буржуазии, чтобы

вложить свою руку в руку народа, жить, сражаться, и умереть с ним за него

Но Верморель воспитывался к тому же в иезуитской семинарии. И он все преодолел, даже клерикальное воспитание, даже ядовитое влияние иезуита.

Основав газету „Французский Курьер“, он одним из первых во время империи поднял знамя социалиста.

Клевета была ему наградой. В течение долгого времени в среде революционной партии он считался подозрительным.

Когда его выбрали в Коммуну, он находился в отъезде; но он тотчас же явился на зов. Он не верил в победу и не обольщался иллюзиями. Но он, не задумываясь, пошел туда, куда звала его честь и опасность.

Здесь он не замедлил сделаться одним из главнейших ораторов собрания и обнаружил деятельность самую неутомимую и самую разностороннюю. Он регулярно присутствовал на всех собраниях в городской ратуше, принимал деятельное участие в работах своей комиссии; когда не мог говорить лично — писал; если требовалось, он бегал по аванпостам; был, одним словом, везде и повсюду, где считал себя способным оказать какую-нибудь услугу, где находил нужным исполнять какую-нибудь обязанность.

Когда версальцы вошли в Париж, этот литератор, этот журналист, в котором не было и тени солдата, прощая жизнь которого была вся — наука, вся — умственная работа, этот человек вдруг преобразовывается, принимает участие в битвах, возит фургоны, разносит приказы, является повсюду, где наибольшая опасность, рискуя быть убитым двадцать раз в час.

Наконец, он падает, пораженный пулею.

Его уносят, стараясь укрыть. Но его открывают и несут пленником в госпиталь, где он медленно умирает.

Как мучительна должна была быть эта продолжительная агония под караулом версальских тюремщиков, вдали от своих, без возбуждения боя, в самый разгар этой мрачной и кровавой гибели первого города в мире и благороднейшего дела в истории.

Несколько часов перед тем, как быть раненым, Верморель, привозивший снаряды в Монмартр, встретился с Ферре.

— Видите, Ферре,—сказал он ему, намекая на некоторые печальные разногласия,—члены меньшинства исполняют свой долг.

— Члены большинства исполняют свой!—ответил Ферре.

И оба эти человека, которые должны были так скоро умереть, и тот и другой, расходятся с этими гордыми словами.

Но перо выпадает у меня из рук, а имена так и толпятся в моей памяти.

Мне хотелось бы говорить обо всех, но я не мог бы даже перечесть их имена!

Но скажу еще об одном,—о

Ферре.

В Пелажи, в тюрьме, куда нас обоих бросил деспотизм империи, познакомился я в первый раз с Ферре.

Невозможно забыть эту бледную, сухую, энергичную фигуру и это лицо, пересеченное длинным, падавшим прямо на рот, носом, и эти черные глаза с быстрым, мрачным взглядом.

В Коммуне он редко принимал участие в прениях. Он занимался полицией вместе с Раулем Риго, которого под конец и заменил в качестве делегата при префектуре.

Всегда спокойный, обыкновенно молчаливый, несколько холодный на вид, этот человек вмещал железную волю и мужество героя в слабом и хрупком теле.

Это была натура экзальтированная, хотя и сосредоточенная, напоминавшая своим сдержанным энтузиазмом и несокрушимой волею тех реформаторов XVI века, которые повторяли свое исповедание веры среди пламени костров.

Пред лицом военного совета, приговорившего его к смерти, при самых грубых оскорблениях, он был величественен своим холодным спокойствием и презрением к палачам, которых победа перерядила в судей.

За час до казни он написал сестре письмо без фраз, в котором объявляет себя полным атеистом и материалистом.

В течение двенадцати недель со дня произнесения приговора он ждал смерти!

Версальцы умышленно продолжали предсмертные муки осужденных, надеясь такой пыткой сломить эти геройские души.

Гастон Кремье, из Марселя, был казнен шесть месяцев спустя после своего приговора.

Но палачи ошиблись.

Ни один из них не изменил себе! Все, как на улицах, так и у столба Сатори, как неизвестные, так и знаменитые, как в темном закоулке, так и перед глазами истории, все умерли безтрепетно, с высоко поднятой головой.

У Ферре, как и у прочих, была своя Голгофа.

Мать его умерла сумасшедшей с отчаяния.

Брата его держали, как помещанного, в одной из версальских клеток.

Отец его был в плену.

Сестра его, 19-ти лет, осталась одна в этом ужасном одиночестве, населенном призраками убитых или помешанных, между только-что засыпанной могилой матери и только что вырытой, зияющей могилой, ожидавшей ее брата.

Безмолвная, гордая, непоколебимая, достойная брата, которому предстояло умереть, она работала день и ночь, чтобы жить самой и приносить каждую неделю двадцать франков осужденному

Наконец, 25 ноября, в шесть часов утра, Ферре повели на Сатори вместе с Россэлем и Буржуа,—бедным солдатом, имя которого тоже следует помнить.

Весь в черном, с сигарой во рту, с лицом, на котором не шевельнулся ни один мускул, медленным и твердым шагом он пошел к столбу, который был ему назначен, встал и взглянул в лицо смерти.

Раздался залп. Россен и Буржуа упали, Ферре остался на ногах.

Раздался второй залп, он опустился.

Тогда один из солдат подходит и вкладывает ему в ухо дуло своего шаспо и простреливает ему голову.

Его убивают в три приема.

Таковы были эти люди! Таков был народ Коммуны!

Мы закончим грозными словами, сказанными Ферре пред военным советом, которому поручено было зарезать его „на законном основании“.

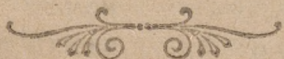
Всякие комментарии ослабили бы их.

Это, вместе с тем,—пророчество о грядущем воскресении бессмертной идеи, которую тщетно старались утопить в крови ее защитников:

„Как член Коммуны, я во власти ее победителей. Они хотят моей головы—пусть берут ее! Никогда я не попытаюсь спасти свою жизнь подлостью. Я жил—свободным, таким и умру“.

„Прибавлю еще одно: счастье изменчиво. Будущему поручаю я заботу о моей памяти и мою месть“.

И будущее исполнит это завещание!



Цена 2 руб.

Указанная на книге цена никем
не может быть повышена.

Государственное Издательство



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Уральское Областное Отделение
Екатеринбург—1921.